



АРКАДИЙ МАКАРОВ

НА ДАЛЁКОМ ПЕРЕГОНЕ

ЗАПИСКИ РАСТЕРЯННОГО
ЧЕЛОВЕКА

Аркадий Макаров

**На далёком перегоне. Записки
растерянного человека**

«Издательские решения»

Макаров А.

На далёком перегоне. Записки растерянного человека /
А. Макаров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836058-9

Эти записи рассказывают о моей жизни и жизни моих товарищей,
сопряжённых с жизнью нашей страны на гибельном, чудовищном переломе
конца 20 века.

ISBN 978-5-44-836058-9

© Макаров А.
© Издательские решения

Содержание

На далёком перегоне	6
И сей день не без завтра	13
Конец ознакомительного фрагмента.	20

На далёком перегоне
Записки растерянного человека
Аркадий Макаров

© Аркадий Макаров, 2016

ISBN 978-5-4483-6058-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

На далёком перегоне

На далёком перегоне
Будут душу согревать
Две горячие ладони —
Это Родина и мать.

из песни

В русском народном мировоззрении, в его сказках, былинах и песнях, в его обычаях и культуре так сложилось, что эти два самых дорогих понятий – «Родина» и «Мать» до недавнего времени всегда стояли рядом, и не было слов выше этих, и не было сущности ближе и дороже. Никто ведь не принуждал народ складывать свою культуру на основе незыблемости и неотделимости этих двух понятий. По народным поверьям каждый погибший за Родину солдат, минуя все препоны, сразу же попадает в Рай, как праведник. Положить душу за други своя – не было выше воинской чести.

Неправду говорят ныне властные остроумы, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. Страшнее и паскуднее этого вряд ли услышишь. С какого нечестивого обезьяньего языка могло сорваться это? Если у соседа «мясо в щах и хруст в хрящах», то не стоит сломя голову бежать из семьи и проситься к тому соседу в приживалки.

В православии. Как в духовном стержне русской нации, богатство никогда не было мерилom Божьей благодати и жизненного, нравственного успеха. Священники по церквам не продавали индульгенций, снимая грехи своих прихожан. Святые отцы не «крышевали», говоря современным депутатским сленгом, Бога не купишь. И положить жизнь свою только во благо золотого бычка в Росси считалось мерзопакостным. У гроба карманов нет.

Моё отношение к событиям, разрушившим нечаянно-негадано коммунистическую власть 19 августа 1991 года, поэтому неоднозначно и определяется тем, что я сказал выше. В этом очерке я могу позволить себе быть субъективным. Как неожиданный свидетель и непрошенный участник того действия, я имею полное право рассказать о нём, как могу.

Конец восьмидесятых и начало девяностых годов было ознаменовано полным провалом экономической политики партии и правительства. Каждая из этих всевластных сторон, как при игре в домино, имела на руках по чёрной костяшке «пусто-пусто». В магазинах, кроме вечнозелёных помидоров в стеклянных пузатых банках и скучных продавщиц при них, ничего не было. А одной из многочисленных очередей написались стихи с характерным названием – «На переломе». Вот они: /Работы много. Дела мало.../ Машину старую – на слом!/ Казённым слогом, как бывало,/Грохочет радио о том./ Ещё о том, что был, мол, промах,/ Да превозмог его народ./ Ну, а у нас на чернозёмах/ За недородом – недород./В очередях скучнеют лица./ И шумно дышит за спиной/ Под сонным взглядом продавщицы/ Люд терпеливый, трудовой./ На всё согласный и безгласный,/ Привыкший к промахам вождей.../ «Спасибо солнцу не погасло,/ И лето всё ж не без дождей!»/

Страну коммунистические лидеры того времени явно банкротили, чтобы потом разобратъ по дешёвке. Даже в закрытых элитных военных городках нечего было купить. Замужняя за советским офицером моя дочь, писала из такого городка под Хабаровском, чтобы мы ей выслали продукты. « У нас даже хлеба без осложнений не купишь» – слёзно сообщала она.

Используя старые и новые связи, я прикупил кое-чего съестного, и, не доверяя почте, с тяжёлыми перемётными сумками подался за восемь тысяч километров, чтобы осчастливить зятя-капитана и любимую дочь макаронами, рисом, салыцем с чесночком, ну, и конечно, вожделенной колбаской. При посадке в самолёт у одной из сумок оборвался наплечный ремень,

и мне пришлось под укоризненные взгляды бортпроводницы волочить по гулкому дюралевому настилу свою поклажу. Но долетел я до Хабаровска, слава Богу! Обрадовал. Обнял. Угостил. Да и сам угостился, благо привёз всё своё.

Рассказывая это, я несколько не ухожу в сторону от повествования о событиях 19 августа 1991 года. Дело в том, что если бы не мой столь протяжный перегон, этот вояж на Дальний Восток, мне бы не посчастливилось быть участником исторического момента.

Так вот – нагостившись и накупавшись, а лето в это время на Дальнем Востоке довольно жаркое и душное, сколько надо в Амур-реке, я 19 августа 1991 года (вот ведь год-перевёртыш!) отправился под сень своих средне русских небес. Не заметив парадокса догоняющего времени, я оказался в столице нашей Родины в тот же день и, примерно, в тот же час, когда самолёт взлетал над Хабаровском, то есть около двух часов дня было по Москве. На Павелецком вокзале стояла, как всегда, толкотня, но ничего такого сумасшедшего, не замечалось. Пассажиры, как и я, сам, в дороге радио не слушали, газет в суматохе вокзальной не читали. Всё шло обычным порядком. Только вот ни в одном из буфетов вожделенных горячих сосисок не оказалось, и пришлось пользоваться жиденьким вокзальным чайком с чёрствой булочкой. И-то – дело!

Времени до отправления поезда номер тридцать один было предостаточно, и я по своей всегдашней привычке отправился в центр потолкаться на Красной площади, так сказать, отметить своим присутствием и запечатлеться в сердце Советской Родины...

Вот почему я оказался в тот день, в том самом месте, о чём пишут, и ещё долго будут писать историки.

Предвкушая сладостную прогулку по центру Москвы, я нырнул в настоящую на машинном масле, но отдающую приятным холодком горловину метрополитена – стоял пасмурный, но довольно душный августовский день.

Мне хотелось походить по старому Арбату, поглазеть на живописные полотна обитавших здесь же столь живописных художников, послушать уличных музыкантов, поглазеть на удивительнейшие представления всяческих импровизаторов, лицедействующих под бренчанье в мятый картуз монет. Одним словом, с максимальной пользой для себя убить время. Ноша плечо не тянет, знай, ходи себе, крути головой, поглядывай да прищёлкивай языком: «Ну, надо ж такое!»

Станция Березай – кому надо, вылезай! Всплываю на эскалаторе, выхожу из метро, а там все пути-дороги заблокированы угрюмыми, неприветливыми людьми в полевой защитной форме: не сразу разберёшь – офицер или солдат перед тобой. Что такое?! Зачем? Но лёгкий короткий удар прикладом автомата в плечо, когда я попытался возмутиться, возражая, что вот, мол, по своей русской земле уже и пройти нельзя куда хочешь, показал мне уверенную руку капитана в общевоинских погонах. Ударив меня, капитан теперь смотрел в другую сторону, где там, какой-то тип, вроде меня, решил пробраться через кордон.

Удар, который пришёлся мне, был хоть и лёгкий, но от этого не менее оскорбительный, и во мне сразу же взорвалась находившаяся в состоянии анабиоза, забытая гордость великоросса: – «Ах, ты!..», но подоспевший во время милиционер, придавив плечо чугунным крылом ладони и матерно выругавшись, толкнул меня опять в машинное чрево подземки: – «Гуляй, мужик!»

Теперь из возмущённого говора пассажиров метро, я уже понял, что случилось что-то такое, от чего тоскливо заныла душа. Неужто снова – в «светлое будущее», похожее на дырочку в общественном туалете, заглядывать? А где же объявленная гласность? А перестройка? А словоохотливый Горбачёв с проектом перелицовки ленинизма под «настоящего» Ленина? Что ж это всё – вибрация воздуха и смущение духа?

По электричке ползли невероятные слухи о вводе в столицу войск; то ли американских, то ли израильских, а то ли ещё каких... Но, ударивший меня минуту назад капитан был с явно

выраженной курносой рязанской мордой, в которую, если хорошо размахнуться, то не промажешь.

Чтобы не говорили люди, а какое-то опасливое любопытство присутствовало и во мне, – как там наверху?

Выплеснувшись из метро на проспекте Маркса, у гостиницы «Москва», я от неожиданности растерялся: площадь Революции у Исторического музея, площадь 50-лет Октября у Манежа были похожи на скопления гигантских дорожных аварий – грузовые машины, автобусы, дорожная техника, жестяные короба, тягачи, они перегораживали доступ к Кремлю.

На моих глазах полсотни весёлых людей с гиканьем и свистом катили к Манежу новенький троллейбус, оторвав присоски от кормящих его проводов. Ни милиции, ни военных здесь не было. На крыше одного автобуса, какой-то молодец, приплясывая и размахивая руками, показывал, как он будет расстреливать Кремль. «Провокатор!» – подумалось мне. – Эх, гранатой бы... Как в Афгани! А с автоматом разве возьмешь? – качал головой рядом со мной плечистый парень с обожженной левой скулой. – Коммуняки, сволочи, что сделали!

Он-то и рассказал мне о ГКЧП. Путч уже набирал силу.

В толпе сновали озабоченные молодые люди, несмотря на духоту, в зауженных костюмчиках невыразительной расцветки, внимательно прислушивались, и что-то отмечали в записных книжечках. Но в общей суматохе на них, этих «комсомольцев», никто не обращал внимания.

Того парня, который рвался расстреливать Кремль из автомата, согнали с крыши автобуса, и его место занял другой, с мегафоном в руке, и призвал всех не паниковать и не поддаваться на провокации.

– Не в силе Бог, а в Правде! – выкрикнул он в толпу. Люди поддержали его одобрительным хлопками. Потом, сменяя друг друга, выступали люди из толпы. Взираясь по плечам на покатуя крышу автобуса и кричали разное, но в основном слышалось: – «Долой КПСС!» – с ударением на две последних буквы.

Толпа гудела. Ликовала. Пробовали запеть «Подмосковные вечера», но из-за возбуждённого гомона этого не получилось. Людей, как и меня, опьянило, обнимая, радостное предчувствие чего-то большого, громадного, что полностью изменит жизнь. Тревоги не было. Восторг переполнял толпу. Толпа всё ширилась, ширилась и росла, вскипая, как молоко в котле – наступал конец рабочего дня.

Состояние толпы не было похоже на какую-то агрессивную революционность, на желание сопротивления и не подчинения. Люди просто ждали, осознавая, что грядёт что-то такое, что напрочь изменит всё их существование. Я тому свидетель. Душевный подъём был необыкновенный. Мужик, протягивая мне, пластиковый стаканчик с водкой, твердил одно и то же – Не пройдут коммуняки! Не пройдут, мать иху так!

– Ну-ка, помоги! – сказал я мужику, протягивая ему опустевший стакан, и он, подставив плечо, помог мне взобраться на неустойчивую крышу автобуса.

Кто-то сунул мне в руки широкий раструб мегафона:

– Говори! Только громче!..

Я, глотая от волнения слова, кричал о тамбовской солидарности с москвичами, о смычке провинции со столицей. А потом попытался прочесть недавно написанное стихотворение – «Самоеды». А что? Внизу, подо мной демократия стояла полнейшая. Правда, мегафон в моих руках невозможно фонил, гудел, повторяя дыхание толпы, но я возбуждённый всем увиденным и возможностью прочесть столичному люду открыто и во весь голос то, что меня волновало и стояло у самого сердца, срывающимся голосом кричал: /И Закон, и Бога поносили,/Раздувая пламя под избой./Отворяли жилы у России,/Упиваясь кровью и слезой./По рукам пустили на забаву.../Чтобы было горше и больней,/Распинали Родину, как бабу,/На широкой простыне полей./И в казённом пыточном подвале,/Наглотавшись спирту, по ночам/Над парашей

руки умывали,/Как и подобает палачам./Спохватились братья-россияне,/Возопив под злобною уздой,/И себя в испуге осеняли/Пятипалой огненной звездой./Где ты, Русь, оплаканная дедом?!/Чьи следы затеряны в снегу?/За спиною встали самоеды,/Доверяя право батогу./

Мегафон гудел, гудела площадь, и мне пришлось, не дочитав двух последних коренных строк, спрыгивать с импровизированной трибуны.

Несмотря ни на что, состояние моё было чудесным – «Блажен, кто посетил, сей мир в его минуты роковые...»

Я не был ни каким антисоветчиком и диссидентом, хотя коммунистом, тоже не был. Их железобетонная тупая уверенность в своих действиях меня не вдохновляла. К тому же, неэффективной экономикой они, то есть руководители страны, доказывали много лет и доказали свою несостоятельность. А как иначе это называть? Без войны страна терпела такую разруху, что надо было вводить карточную систему. То ли антисоциалистический заговор всего Политбюро с Генсеком вместе, то ли сплошная шизофрения власти. Кто им мешал, хотя бы слегка либерализовать структуру гигантской державы, не случилось бы того, что случилось. Стояла бы наша многонациональная шестая часть суши крепко и властно. Ведь перед крахом Союза за сохранение единства страны проголосовало подавляющее большинство даже в мононациональных республиках, не говоря уже о русском народе. В любом уголке Союза можно было чувствовать себя, как на своей малой родине, например, в Бондарях. Даже в чеченских нагорных селениях, где мне приходилось быть, я всегда встречал дружескую руку и одобрительные гортанные цоканья языком за гостеприимным столом с фруктами, с дивными пахучими травами и, конечно, с вином непривычным для русского вкуса, но с весьма полезными свойствами для духовного общения.

Что плакать по волосам, когда голова снята...

В тот памятный вечер 19 августа, в год перевертня, перефразируя старую песню, могу сказать – шумел, гудел народ московский. Вместе с ним, московским народом, радостно гудел и я. Коммунистической власти пришёл конец, – это уже, опережая события, носилось в воздухе, и эту радость не мог заглушить накатывающийся гром со стороны площади Дзержинского, от Детского Мира. Небо не косматилось тучами, и было затянута белёсой пеленой, куриной слепотой какой-то. Слабо и нехотя моросил дождь. Ждать грозы было неоткуда. Толпа недоумённо крутила головами: – что такое?! Но рокот нарастал, как будто оттуда, с гигантской площади поднялся на форсаже рой реактивных истребителей. «А-а-аа!» – волной прокатилось по толпе. Неожиданно появились в оранжевых безрукавках несколько дорожных рабочих с ломami и стали почему-то выворачивать бордюрные камни. Камни сидели так плотно, что стальные стержни в руках рабочих упруго прогибались. Но вот один камень отвалился, за ним другой, третий... Люди, охочие до всяких дел, стали перетаскивать тяжёлые блоки на середину улицы. Я, подхваченный какой-то суетливой лихорадкой, кинулся помогать им, не вполне уяснив, – в чём дело?

Но вот, в широкой горловине проспекта Маркса, то и дело, ныряя носом, на огромных роликовых коньках, как с конвейера катились, страшно и неотвратно, бронированные машины пехоты с длинноствольными пулемётами на платформах – чудовищные марсианские единороги.

Мне действительно стало страшно. Машины казались тупыми недоумками-пришельцами из другого мира в стройном, упорядоченном мире городского пейзажа.

Народ, собравшийся уже достаточно, чтобы затопить собой широкий рукав проспекта, шумно ахнул раскатившись по обе стороны проезжей части. Машины катились на малой скорости, но от этого, исходящая от них рыкающая опасность была не менее роковой.

Я впервые, ни на киноленте, а в яви увидел неотвратимость беды, и мне стали до боли понятны чувства оккупированного чужой силой, народа. Эти рокошующие громады стали для меня инородны, как будто это вовсе и не наша родная армия-защитница, а вражеская.

Но я поспешил в своих выводах

Подпрыгнув несколько раз на бетонных блоках, раскинутых на проезжей части улицы, нырнув, броня остановилась. Из башни, как из канализационного люка сантехник, выбрался в чёрном комбинезоне военный, судя по внешнему виду, офицер, и что-то крикнув в чрево машины, снял свой ребристый шлемофон. Лицо его было озабоченным. Черные потёки пота избороздили его скулы и состарили. Выпроставшись полностью из машины, он уселся на броне покатою, как крыша сарая, и вытянул затёкшие ноги. Откуда-то в руках женщин из толпы появились поздние садовые цветы, и головная машина с уставшим на ней офицером были закиданы жёлто-розово-красным цветом. Затем туда же полетели разноцветные пакеты с чем-то съедобным.

Офицер, вытянув обе руки навстречу толпе, проговорил хрипло:

– Родные, славяне, земляки, что же нам делать?

– Сынок! – кричали из толпы, – с народом не воюй! Стой, как стоишь, и своим солдатам прикажи! Тебе ничего не будет! На шум, выдернул круглую, как капустаный качан, голову механик-водитель, совсем ещё мальчишка, салажонок. Ему стали совать в смотровой люк блоки сигарет, конфеты. Конфеты сыпались на броню, падали на землю. Солдат, не обращая внимания на сладости, блаженно улыбался, с удовольствием потягивая ароматный дым непривычных дорогих сигарет. Он, казалось, совсем забыл про Устав. Забыли про Устав и все те, кто шёл колонной за головной машиной.

Женщины, раскинув руки, припадали к разогретой броне, обнимали её, смеялись.

Действительно, – умри – лучше не скажешь: народ и Армия – едины!

Люди, окрылённые первой настоящей победой, почувствовали свою силу: всколыхнулись, загудели и, как стая осенних птиц на перелёте, руководимая не вожаком, нет, а неизвестной, неизъяснимой силой, биотоков что ли, повернули вверх по улице Горького.

– К мэрии! К мэрии! – раздавалось со всех сторон.

Вот уже новое, модное слово! Хотя «Моссовет» более привычной для того времени, но все почему-то кричали: – «Мэрия! Мэрия!»...

И вот уже в широком каменном горле заклокотало, вскипело чёрным крошевом и понеслось гулко и просторно. На мостовой ни машин, ни других движущихся механизмов не было. Со всех сторон в это крошево примешивалось ещё, и ещё, и ещё.

Я, подчиняясь инстинкту толпы, тоже кричал что-то, перемещаясь вверх по улице то короткими перебежками, то шагом, напрочь забыв о том, что в кармане лежит билет до Тамбова. Сумерки уже сгущались. Где-то сбоку снова зарокотало, зацокало железо о камень.

– Танки! Танки! – и толпа снова вскипев, побежала. – К мэрии! К мэрии! Они не пройдут!

Кто это «они», было уже ясно.

Увидев здание Главпочтамта, я вдруг вспомнил себя, и сходу, увлечённый и вдохновлённый необычными событиями, свернул туда, чтобы позвонить домой, в надежде задержаться в Москве. Но в трубке, там, с другого конца провода, раздалось короткое и достаточно ясное слово. Встревоженный голос жены привёл меня в чувство. Спорить – себе дороже. Во времени до отправления поезда почти совсем не оставалось, и я, немного помешкав, провалился в метро, досадуя на свой податливый характер.

В поезде все разговоры сводились к тому, – кто кого повалит, коммунисты демократов, или – наоборот.

На другой день, вся великая страна была прикована к голубому экрану. Там, в столице, происходило невероятное, – путч проваливался. Все ждали чуда. Радовались за победителей. Наконец-то страна будет жить по человеческим законам, как большинство стран в мире, нормальной жизнью. А, как же?! Ведь победил народ!

Но действительность оказалась более прозаической, неожиданной и трагичной. Как тут не вспомнить строчки Николая Рубцова – « Всё было весёлым вначале, всё стало печальным

в конце...» Могучий Советский Союз, раздираемый местными партийными князьками, пал в одно мгновение, как загнанная лошадь. И начался вселенский жор. Власть имущие, потеряв остатки, вместе с уголовным отребьем глотали и не давились. Глотали и не давились, оставив с носом тех, кто создавал материальную основу страны, кто действительно устал от коммунистов и их бестолковщины.

В наши дни совершилось то, о чём писал бунтарь Бакунин около века назад: «Нам надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли» Правда, Бакунин отрицал собственность в теории, а сегодняшние кумиры отрицают чужую, кровную собственность, на практике: – «Вам не положено! Отдай!»

Страна, нет, вернее часть страны, её большая часть, повернула так круто, что сразу же забылись все нравственные нормы и предварительные обещания властей.

Деньги – это воплощение материи в знаках, а материя, как известно, не исчезает и не возникает вновь, она только видоизменяется. Если где-то прибавилось, то должно где-то на столько же убавиться. Это знали так давно, что и говорить не надо...

Грустно. После десятилетия монетарного государства, у меня написались следующие стихи, которые я здесь приведу обычным образом, то есть в столбик:

ЖИВАЯ ВОДА

Блюминги, слябинги, домны, мартены,
Живая вода в решете...
Всё это Ивана, сына Матрёны,
Того, кто живёт во тщете.

В домнах чугуна, а в мартенах – железо,
В скважинах нефти потоп.
Иван оглянулся – всё мигом исчезло,
Осталось в руках решето.

Зелёная медь орденов и медалей...
Ивану награды – не впрок!
Пришли говорливые люди и дали
Кличку Ивану – «Совок!»

Потом заманили в словесные дебри
И разум за ум завели.
Иудины дети, полпреды отребья
И новых вождей холуи.

Блюминги, слябинги, домны, мартены,
Нефть, как живая вода —
Всё это Ивану, сыну Матрёны,
Уже не видать никогда.

– Врёте, поганцы! Ещё ведь не вечер! —
Ему донеслось от молвы.
Поднялся Иван, распрямил свои плечи...
Глядь, а он ниже травы.

Что за колдун запредельного края?
Чья на тебе ворожба?
Крестная сила да сила земная,
Трёхперстьем своим отмахни ото лба.

В миг расползутся жуки-скоробеи.
Конь под Иваном порвёт удила.
Медленно-медленно силушка зреет,
Скоро вершатся дела.

«Запад нам поможет!» – эта крылатая фраза звучит теперь, как издёвка. Они там знают, хорошо наученные нашим опытом, что критическая масса, как в атомной бомбе, грозит большими последствиями, и поэтому; и бюргер, и рабочий, и фабрикант конвергировались, как говорят физики, в единую неделимую на классы нацию, где каждый чувствует не показную нищенскую, а настоящую заботу своего государства о судьбах своего народа.

Я не ретроград, и вовсе не тоскую по коммунистическому прошлому, но справедливость в обществе, тем более демократическом, должна стоять на первом месте. Это так, чтобы не говорили о сегодняшних успехах построения светлого капиталистического завтра.

И сей день не без завтра

...А утром меня разбудил дятел. Он так споро колотился башкой о сучок стоящей перед окном сосны, что мне вначале подумалось: кому это пришло в голову в такую рань строчить на швейной машинке. Повернувшись на другой бок, я увидел, что швейная машинка системы «Зингер», как стояла, так и стоит в углу нетронутая. В последние тридцать лет за нее никто не садился, после того, как ушла от земной жизни незабвенная Евдокия Петровна, бабушка моей жены, любившая свою внучку, а заодно и меня нежным материнским чувством, заботливым и тревожным.

Швейная машинка, покрытая голубой скатеркой, напомнила мне родительский дом, далекий и призрачный, как утренняя звезда в тумане. Точно такая же машинка в руках моей матери обшивала и кормила нас, голодных и золотушных детей послевоенного времени.

Да, действительно, самое тяжелое в жизни, это молиться Богу и доаживать родителей.

Оставив городскую квартиру, чистую и уютную, как золоченая шкатулка, мне пришлось перебраться в другую область, в старинное придонское село Конь-Колодезь, – название-то, какое! Село расположено вдоль магистральной дороги, соединяющей Кавказ и юг России с Москвой. Село длинное, как застежка-молния, по которой, туда-сюда, не гася скорости, мчатся груженные фуры и тяжелые трейлеры со всякой всячиной.

Правда, недавно была открыта объездная дорога, но она платная, и машины по старой памяти, нет-нет, да и проутюжат притихшую, было, большую дорогу, распугивая обнаглевших кур и сытых валяжных гусей.

Родители жены достигли той жизненной вершины, спуск с которой требует надежной опоры, чтобы не соскользнуть в пропасть.

В конце жизни всех нас ждет одно и то же, поэтому, подставляя плечо утомленному на долгом переходе, мы тем самым, заходя, готовим и себе защиту, в надежде, что и тебя кто-то поддержит на сыпучей каменной уклонистой дороге...

...А вчера была генеральная уборка. Изю всех щелей и закоулков дома наружу лезла лохматая неприглядность запустения.

Ненастному дню не к лицу цветные одежды. Поздняя осень всегда неряшлива, пока не облачиться в белые одежды зимы. Старость снисходительна к окружающей обстановке. Не до того ей.

Когда жена скребла и чистила, на первых порах наводя более или менее сносный порядок, я, разбирая чердак от хлама, наткнулся на старое пыльное зеркало в деревянной самодельной оправе.

Зеркало было настолько старым, что мое отражение в нем не угадывалось. Амальгама местами осыпалась, оставляя мутные проталины. Смахнув рукавом слежавшуюся пыль времени, я обнажил сущность вещи, которая служила, по меньшей мере, лет сто, равнодушно отпечатывая на своей глади мгновенный образ заглянувшего в его глубины человека. Без его живого взгляда, зеркало мертво. В нем ничего нет, космическая пустота. Всякое отражение отсутствует. Только глаз человека способен подарить зеркалу его глубину и наполненность.

Протирая зеркало, я заглянул в него и ужаснулся. Неужели это я?

Некрасивый морщинистый образ усталого человека пугает меня. Кривая усмешка передернула искаженные внутренними противоречиями губы. Я оглядываюсь назад, в паутинную завесу чердака, в надежде отыскать там образ отраженного в зеркале человека. Но за спиной у меня никого нет. Только большой и синий, как слива, паук шархнулся куда-то за пазуху потемневшего от старости стропила, напуганный вибрацией паутины, задетой моим дыханием.

Позади меня никого нет» Значит, это действительно я! И печаль вошла в мое сердце, и поселилась там.

«О, моя юность! О, моя свежесть!»

Я пристально стал рассматривать зеркало под разными углами, удивляясь его ветхости. Зеркало, по всей видимости, было изготовлено кустарным способом из простого оконного стекла, далеко не кондиционного: по всему полю были видны изъяны – потеки и наплывы, в одном месте белой оспиной застыл пузырек воздуха.

Конечно, коэффициент преломления в таком стекле был неоднороден и вносил в образ характерные дополнения, подчеркивая и утрируя его сущность. Так же, как человеческий глаз, в зависимости от состояния души, способен отмечать разные характеристики одного и того же предмета.

Иногда удачный шарж говорит больше чем фотография.

Но я, кажется, отвлекся.

На сосне стучал дятел, и мелкие опилки, припорошивая хвою, осыпались на землю. Утро было свежим и чистым, как дыхание десятиклассницы в том далеком времени, куда нет возврата.

Положив мне ладони на плечи, она что-то говорила, говорила без передышки, а я всё никак не мог вникнуть в смысл сказанного, все смотрел на вырез ее платья, стоял и глупо улыбался неизвестно чему. Святая простота! Святое время!

...А дятел все долбил и долбил свой сучок, добираясь до самой сердцевины, где какой-нибудь жучок скоблил челюстями неподатливое дерево, насыщаясь им, безразличный ко всему, что находится вне среды его обитания.

Прихватив трехлитровую банку, я отправился в дальний конец села за молоком, у ближних соседей все удои были рассчитаны заранее; кому – сколько, а мне, как вновь прибывшему, надо было искать свою молочницу.

Говорят, утренний удой самый полезный, поэтому я и отправился спозаранку по дальнему адресу, который мне настоятельно рекомендовала теща.

Дорога шла через парк, насквозь пронизанный апрельским солнцем, молодым и здоровым после зимнего недомогания. Листва еще не проклюнулась, еще, как цыплята в скорлупе, притаившись, набирались жизненной силы кипельные соцветья черемухи, еще ветви акации сухие и жилистые стояли окоченевшие в беспамятстве от прошлых морозов, но уже еле уловимая зеленоватая дымка окутала на взгорье одинокую средь тополиной поросли белоствольную русскую красавицу. Подойдя поближе, я увидел, как с неглубокого надреза ее в мягкую прозрачную бутылку, какими теперь заполнена вся торговая сеть, светлыми каплями стекал березовый сок. Бутылка была наполнена всклень, а сок все продолжал и продолжал капать, обливая шероховатую чернь комля, стекал на мягкую подстилку из прошлогодней травы. В этой мокроте копошились черные точки очнувшихся крохотных мушек.

Еще утро только начинается, а они уже готовы, набражничались, как вон тот, идущий мне навстречу нетвердой походкой, местный забулдыга.

Было жалко пролитой драгоценной влаги, и я, отцепив бутылку, стал пить прохладный пресноватый напиток, процеживая уже отвалившихся и плавающих в бутылки, как сор, маленьких мурашек.

Человек, увидев у меня в руках бутылку, оживленно завернул в мою сторону.

Несмотря на сравнительно тёплую погоду, дядька был одет в глубокие валенки с калошами, темную телогрейку неопределенного цвета и кроличью или кошачью, теперь уже не разобрать, потертую шапку

Скорее всего, это был ночной сторож, поставленный неизвестно зачем и охраняющий неизвестно что – какую-нибудь рухлядь в сельской конторе.

Несколько раз, двинув сухим ржавым кадыком туда-сюда, он с нетерпением, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на меня, выжидая, когда это я кончу пить, и ему что-нибудь оставлю.

Я нарочно стал тянуть время. Человек, вытерев рукавом рот, решил остановить меня неожиданным разговором.

То же вчера перебрал? – участливо спросил он.

Да, было маленько! – чтобы его не разочаровывать, согласился я с тем, что и сам, как он, мучаюсь с похмела.

Оставь щепотку!

Я протянул ему бутылку.

Вот, сколько пью – не могу без кружки! Может стакан, найдется? – он заинтересовано заглянул в мою сумку, в которой пузатилась банка молока.

Может, из банки будешь? – пошутил я.

Ты б еще из ведра предложил.

– Ну, раз не можешь пить из горла, давай бутылку обратно — подзадорил я его.

– Я щас! Я щас! – заговорил он быстро, прижимая запекшиеся губы к горлышку.

Закрыв глаза, он в блаженстве сделал несколько глотков, потом лицо его передернулось гримасой отвращения, Он откинул бутылку в кусты, сплюнул на землю и выматерился.

Над человеком смеёсси?

Прости, отец, не понял?

А, чего тут понимать? Я думал ты самогонкой лечишься, втихоря от бабы, а это дрянь какая-то!

– Так это амброзия! Самая похмелка и есть.

Какая-такая абросимая? Век не слышал. Американская что ли?

Не американская, а настоящая русская. Березовый сок это.

А-а... – неопределенно протянул человек, неизвестно, что стороживший, и неизвестно, где всю ночь гулявший, пропивая потихоньку всякую хозяйственную мелочь какой-нибудь микроскопической конторы. – Березовый сок полезительный – в раздумье сказал

он. – От поноса хорошо лечит. Ты, чей есть-то? – перевел он раз говор на меня. – Вот, вроде на лицо знакомый, а так..., не скажу чей.

– Да, приезжий я! Не местный.

– Ах, ты, мать-перемать! То-то я гляжу – не наш, вроде, не конёвский. Коммерцией занимаешься? Слухай! На днях свинью валить буду. Мясо почём берешь? Оптом отдам. Живым весом. Мясо, как масло сливочное. Ты свиней скупать приехал? Давай ко мне! По рукам! – он протянул корявую, как наждачная шкурка, пятерню. – А, чего ты сразу не сказал? Ты бы спросил Калину. Меня все знают. Ты почём за килограмм дашь? Абдула, чечен с Воронежа приезжает. Так он, паразит, четвертак дает.

– Чеченец? С Воронежа? Не может быть?

– Так он, вроде, чурка. Армянин, наверное. Не-е, за четвертак не отдам. Давай по Боже-ски! За тридцатник!

Я начал его убеждать, что я не перекупщик, что я приехал к Алексею Алексеевичу, тут я назвал фамилию моего тестя, помочь старому по дому, и, вообще, я здесь никого не знаю, а сейчас иду за молоком к Ямщичихе, говорят, что у неё молоко хорошее. – Вот, ты бес, какой! Мужик ударил меня со всего размаха по плечу. – Так я гляжу, ну, вылитый Ликсей Ликсеич! Ох, мы с ним и вина попили, страсть! Бывало, сидим на огородах, а он мне моргает: « Давай, – говорит, – Калина, еще добавим! Нырка в подвал, да и вытащит жбан. И мы с ним вповалку! Бывало, моя старуха нас от солнца, чтобы совсем не заморочило, в холодильник оттащит. Мы и спим, как два брата. Да, а молока лучше моего, – во всем Коне нету. Ей Богу! Дай закурить!

Я сказал, что вот уже месяц, как не курю, хотя тоже – здорово тянет. Никак не отвыкнешь.

Здесь надо отметить, что мой тесть никогда в жизни более ста граммов водки не пил, то ли из принципа, то ли еще по каким-то соображениям, а пьяным, тем более, никогда не был. Здесь Калина загнул.

Он пошарил, пошарил по карманам, и вытащил помятую пачку «Примы».

– Хотел твоих отведать, пшеничных... Чего тебе вдаль переться? Пошли ко мне во двор! Моя старуха-баба тебя отоварит. Молоко – сметана! Лучше не ищи! Пошли! Я здесь рядом живу. Давай десятку! Ну, – за пузырь, что в твоём сидоре лежит.

Я протянул ему десятирублевку за трехлитровую банку молока, хотя на селе, мне сказали, три литра стоят восемь рублей. Но, далеко идти не хотелось, а здесь, вот оно, рядом.

Калина обрадовано свернул с аллеи и сразу же направился к большому особняку красного кирпича – прямо над Доном, с хорошим забором из крученой сетки, с гаражом и надворными постройками, тоже кирпичными. Я еще удивился, что у моего нового знакомого такие богатые хоромы.

Перед этой усадьбой затрапезный вид мужика меня, несколько, озадачил. Может он и не сторож никакой? Может с ночной рыбалки возвращается. Хотя в руках никаких снастей не было.

Обрадованный, что не надо некуда тащиться по селу, я повернул вслед за мужиком.

Быстро нажав на кнопку звонка в калитке, он сразу же нырнул за изгородь.

«А, черт! Банку забыл отдать!» – подумал я, подходя к калитке.

Мужик неожиданно быстро вышел, держа перед собой в зажатом кулаке, как керосиновый фонарь, уже хорошо початую бутылку, заткнутую газетой.

Он вытер губы и протянул бутылку мне:

Накось! Пить первым будешь! Небось, нутро дрожит?

Я недоуменно смотрел на него, ничего не понимая.

Мужик, не пью я! Мне молока надо.

А, больной, никак? – посмотрел он на меня уже повеселевшими глазами, но с участием. – Вольному – веля! Ну, как хоть! – мой знакомый с нарочитой обидой сунул бутылку в замасленный карман. – Пошли, коли так, за молоком.

Он завернул снова в парк. И мне ничего не вставилось делать, как идти за ним.

Молодая поросль, отогретая после морозов, стала гибкой, уже опутывала неги, уже не пускала внутрь парка, вся обрызганная грачиными нашлепками, словно здесь, только что перед нами, прошли маляры.

Плутая меж кустов, исхлестанный ветками, я вышел вслед за мужиком к беленому небесной побелкой небольшому, приземистому дому, вернее хате, настолько она была похожа на гоголевские малороссийские постройки. Одна половина избы сложена из местного известняка, губчатые куски которого, изъеденные эрозией, торчали кое-как из стены, другая половина штукатурена и побелена мелом с синькой, оттого и приобрела небесный цвет.

Но..., над крышей этой хибары, прямо из трубы, зажав метёлку промеж ног, устремлённая всем корпусом вперед и выше, рвалась в утреннее небо апрельской чистоты, баба-Яга.

Лишь только спутанные космы и прутья метлы, как пламя спаренных реактивных двигателей, были отброшены назад, создавая невиданную тягу. Аллегория в порыве!

Я так и присел от неожиданности. Поскрипывая ревматическими суставами, эта чертова баба шаркала горбатым носом, принюхиваясь, откуда дует ветер. То бишь, держала нос по ветру, у кого какой навар во шах.

Ловкий жестянщик так искусно смастерил этот своеобразный флюгер, что мне и, впрямь, почудилось, как старая ведьма, растянув в беззубой улыбке рот, так и подмигивает мне, так и подмигивает.

Калина, мой новый приятель, сразу направился к дому, забыв и про меня, и про мою посуду.

Банку! Банку забыл! – крикнул я ему.

А! – он, обернувшись, хлопнул себя ладонью по лбу, подхватил банку и скрылся в избе. Через минуту там слышались какая-то возня и гроыханье.

Взвизгнув, открылась избяная дверь и хлопнула по тощему заду моего участливого знакомого, клацнула запором и закрылась. Из форточки слышался бабий скандальный голос: «Ах ты, сука поганая! С алкашом молоко воровать из дома! Я те руки-то укорочу, дурак плешивый!»

Моя банка пузырем вылетела из форточки и, звякнув о камни, развалилась на куски, мужик, опасливо петляя к забору, разводил руками, всем своим видом показывая, что вот, мол, дура-баба, я-то не при чем.

Отодвинув доску в заборе, он нырнул туда головой вперед, почему-то забыв вернуть мой червонец.

Что делать? За удовольствие надо платить!

Я еще раз взглянул на, рвущуюся в космическую высь, бабу-Ягу, на ее шмыгающий нос и, спрятав теперь уже пустой полиэтиленовый пакет в карман, простив моему затейливому знакомому деньги, повернул домой за другой посудой.

Самый ближний путь был берегом Дона, и я по молодой, свежей зелени, сбивая ногами росу, шёл, любуясь широкой, просторней рекой, вынырившей казацкую вольницу, верных российских сторожевых ратников, стяжавших замечательную славу русскому государству, не за страх, а за совесть служивших ему.

В сиреневом кусту, сбоку от меня, попытался покатать стеклянную горошину соловей, но звук получился какой-то низкий, хрипловатый, и птах тут же осёкся, устыдившись своей неумелости.

Видно рано еще было соловьиным свадьбам. Вот станут короче и светлее ночи, с обоих концов подсвеченные зорями, попьет соловей родниковой водицы под бережком, прополощет горло, прочистит его, да и сыпанет хрустальные окатыши по росной траве, и, улыбнувшись, качнёт головой прохожий человек, вспоминая свои молодые ночи, свою соловьиную песню.

Широк и спокоен Дон. Вода не течет, вода остановилась, зардевшись от ласковых прикосновений апрельского солнца, она замирает, готовая отдаться его пробудившей силе, его мощи.

Под ногами захлюпало. Я посмотрел выше по берегу. Там, из-под ржавого колотого известняка, юля и виляя между тугими стеблями прошлогоднего батыря, – дурной травы, бурьяна, омывая корни согбенной ветлы, побулькивал светлый ручеек. Родник упругими толчками питал его, как молодая мать своего первенца.

Нельзя было пройти мимо и не напиться, не причаститься этой благодатью. Я, встав позвериному на четвереньки, припал губами к этому творению природы, В прозрачном болотце, на дне которого хороводились и толклись мелкие камешки, иголки сухих травинки, и крохотные песчинки промытые светлей водой, копилась жизненная сила.

Родная... Редина... Родник.

Я бы пил еще дольше, но ледяная влага студила зубы так, что пришлось оторваться от этой благодати. И, зачерпнув на прощание этой самой влаги, я плеснул её себе в лицо, подетски смеясь и радостно фыркая.

Вчерашняя растерянность и уныние от запущенности и не ухоженности дома, в котором мне предстояло жить, от глухоты окружающего пространства, от предстоящих неизбежных печалей, отпала от моего сердца, рассыпались и растворились в этой ключевой воде, виляющей у моих ног в неотвратимом стремлении соединиться с вольной русской рекой, чтобы потом стать океанской влагой горькой, как слеза, и, распавшись на неуловимые молекулы, взлететь к небесам, под самое солнце и снова пролиться дождем на землю, и, пройдя сквозь ее толщу, напиться животворными соками, чтобы потом снова пульсирующими толчками выплеснуться уже в другом времени и у других ног. Великое коловращение вселенской мате-

рии породившей и эту вербу, и село на горе, и меня самого. Да, что я?! Маленькая соринка в океане жизни!

Поднявшись вверх по узенькой вихлястой тропке, я вышел на широкую деревенскую улицу с чистенькими домами, белеными все той же подсинённой известью, отчего стены высвечивали лунной голубизной.

Рядом, за старым разлапистым вязом, бесстыдно разинув с проломленными фрамугами окна, с облупившейся местами штукатуркой на отсыревших стенах, как напоминание о пронесшейся в недавнем времена перестроечной разрухе, задевшей своим бесчувственным крылом не только индустриальные города, но также и деревни, как-то неуклюже, углом выпирало большое строение. Бывшее здание совхозной конторы, отданное властями беженцам из братских союзных республик, разваливалось на глазах. Как говорить, без хозяина и товар – сирота...

Оторванный вороватой и неумелой рукой железный лист с крыши, зацепившись за единственный гвоздь, перебитым крылом свисал, обнажая темные ребра обрешетника. Потихоньку, без должного пригляда, двухэтажка времен развитого социализма оседает и рушиться, как само то время, в котором оно было построено.

Бесхозность, без лишней волокиты, дала возможность временного прибежища разношерстному люду, где вместе с русскими беженцами в согласии и мире проживают также представители и других национальностей не нашедшие общего языка и приюта в других краях.

За черемуховым кустом с уже проклюнувшимися почками, но еще по-осеннему прозрачной, в горестной, согбенной позе, выражающей крайнюю покорность, сидел, прижавшись боком к облупленной стене этого двухэтажного барака, пожилой худощавый цыган с реденькой всклокоченной бородкой и плакал, размазывая по-детски грязным кутком слезы на впалой щеке.

Он, может, и не цыган вовсе, а так, неизвестных кровей бродяжка, но резкий крикливый выговор с обилием протяжных звуков на котором говорил с ним молодой, плечистый «чавелла» в красной шелковой рубахе с широкими рукавами и в голубом бархатном жилете, говорили о принадлежности плачущего мужичонка к этому вольному народу.

Молодой рубил воздух ладонью, что-то строго и убежденно выговаривая своему соплеменнику.

И красная рубаха, и голубой жилет, и длинные волосы цвета вороньего крыла, и курчавая, в крупных кольцах, рисованная ассирийская борода, отливающая чернью, делали его похожим на киношного лубочного героя из оперы «Алеко»

Его жалкий соплеменник только хлюпал носом и повторял какую-то односложную фразу, словно в чем-то оправдываясь.

Молодец красавец присел рядом на корточки и по-родственному положил ему на плечо руку, на пальцах которой хищно светились широкие кольца желтого металла, после чего мужичок перестал всхлипывать и успокоился,

По-всему было видно, что молодой занимает несравненно высокую ступень в племенной иерархии.

Расправив плечи, цыган в огненной рубахе поднялся и, не оборачиваясь, с высоко поднятой головой шагнул за изгородь.

Каково же было мое удивление, когда из-за угла двухэтажки, этого жалкого строения, нетерпеливо подергивая атласной кожей, коротко похохатывая, шагнул навстречу своему живописному хозяину, такой же масти и стати, жеребец.

Тряхнув гривой, он понес «рома» вдоль березовой аллеи навстречу солнцу.

Только шелковая красная рубаха, прихваченная голубым бархатным жилетом, да хромота, зеркального блеска сапоги, да цокающий селезенкой конь.

Я закрыл глаза и снова открыл их, пораженный увиденным. Может, и не было вовсе того цыгана и его огненной рубахи опоясанной голубым бархатом, его вороного коня и того несчастного, что так горестно плакал, вытирая слезы грязной ладонью.

В наше вороватое время настоящего цыгана чаще можно увидеть в элегантном «Мерседесе, чем верхом, пусть даже на очень хорошей лошади. Да и откуда он взялся такой породистый и уверенный в себе красавец?

Огненная рубаха, голубой жилет, ассирийская борода...

Березовая аллея была пуста. Я оглянулся на барак, и там, где только что плакал жалкий представитель удачливого племени, сидела растрепанная столетняя ворона и долбила клювом землю, выбирая из скудной песчаной почвы какие-то полуразложившиеся останки.

Выслушав недовольство жены по поводу исчезнувшей, дефицитной на селе посуды ж небольших, но всё-таки денег, я, теперь уже деревенским порядком пошел по-другому, но тоже верному адресу.

– У Косачёвой Клавдии молоко, ну, прям, как дыня! Сахар, да ж только! – расхваливала теща, вспомнив еще одну молочницу.

– Ну, раз, как дыня, тогда что ж... Тогда пойду к Клавдии – согласился я с доводами знающего человека.

На деревенской улице надо было «здороваться» со встречным народом, именно здороваться. «Здорово! Как живёшь? Как выходит?» Здорово- здорово! Выходит хорошо. Вот входит плохо...» Ну, и так далее.

Солнце уже полезло в гору, ж стало заметно припекать. Я расстегнул куртку. Люди шли по своим колхозно-совхозным делам, и мне «здороваться» приходилось то и дело. Молодые недоуменно на меня поглядывали, а пожилые вежливо здоровствовались, одобрительно проводя взглядом: – «К кому же приехал такой уважительный и хороший человек?»

Клавдия в загородке из тонких жердин доила корову. Чтобы не отвлекать хозяйку разговорами, я остановился, из-под далека наблюдая за ее действиями.

Молоко серебряными струнами резонировало в жестяном ведре, пело о травяном лете, о жарком полдне, о гудящем тяжелом шмеле, который, ввинчиваясь в знойное марево, рвет его, открывая доступ нагретому воздуху, о первом покосе и ливне в конце дня, когда распаренное сено издает удивительный запах настоя, говорящего о целебней силе земли.

Клавдия, еще вполне не старая женщина лет шестидесяти, молодо привстала с корточек, поправила платок на голове и, легко подхватив обливное железное ведро налитое почти, что всклень белопенным парным молоком, почувствовав на себе мой взгляд, оглянулась.

– Здравствуйте, Клавдия Ивановна! – назвал я первопопавшее на ум отчество, чтобы не быть невежливым.

– Не Ивановна, а Николаевна! – она коротко взглянула на меня, сразу определив, кто я и зачем приехал. – А я слышала, слышала, Ликсеич говорил, что к нему дочь на догляд приехала. Ты ему кто же будешь? Зять, что ли?

Зять, который любит взять! – пошутил я не к месту.

– Не окажи. Он вроде тебя хвалил. Пойдем в избу, я тебе парного налью, утреннего.

Изба у Клавдии Николаевне маленькая, чистенькая. Подзоры на иконах кружевные, наверное, ещё прошлых, молодых времён. Половички один к одному, цветными дорожками устелили крашеный не коричневой, как обычно, а голубой краской пол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.